

A stylized, high-contrast black and white illustration of a man's face and upper torso. The man has a beard and is wearing a dark suit jacket, a white shirt, and a dark tie with a repeating diamond pattern. The background is a solid light gray. The text is overlaid on the right side of the image.

Дарья Минеева

Серия: «Дневники пуританина»

**Булавка в виде  
тюльпана**

**Дарья Минеева**

# **Булавка в виде тюльпана**

**Серия «Дневники пуританина», книга 1**

*<https://litres.ru/73733141>*

*SelfPub; 2026*

## **Аннотация**

На чердаке старого колониального дома в Массачусетсе я наткнулась на этот дневник, датированный между 1687 и 1710 годами, и взялась за перевод.

Молодому пуританину вынесли вердикт: Господь не предопределил его ко спасению. Клеймо закрепили булавкой в виде тюльпана, и с тех пор он не имел права голоса и места в церковной общине. Желая смыть позор с имени отца, он бежал в ополчение и попал в круговорот войн и революций, перекроивших и колонии, и его самого. Но нигде не нашел того, чему мог бы посвятить себя.

Эта история о том, как человек, что всю жизнь блуждал во тьме, обрел свое служение: не выйти к свету, а держать свечу для другого.

# Содержание

Лета Господня 1687	5
Народ столпился на въезде в Ипсвич.	15
За ужином отец сказывал нам о былом.	22
Дверь распахнулась, и мистер Когсуэлл втокнул меня в зал.	26
Осенний ветер тревожил ставни.	29
Сон бежит от меня.	32
Уборка в свинарнике обычно лежит на слугах, но сегодня что-то переменялось.	33
Ранним утром матушка помогала мне собираться на занятия.	40
Отец вернулся со съезда сумрачный, безмолвный.	45
Отец позволил мне присутствовать — опасался, что стану подслушивать.	49
Лета Г	58
Конец ознакомительного фрагмента.	59

# Дарья Минеева

## Булавка в виде тюльпана

На чердаке старого колониального дома в Массачусетсе я наткнулась на этот дневник, датированный между 1687 и 1710 годами, и взялась за перевод.

**Лета Господня 1687**  
**Преподобный Уайз приучал**  
**меня вести записи: «Дабы**  
**зреть деяния Господа в бытии**  
**твоем. Записывай грехи свои**  
**— и как с ними боролся».**

Дневник пылился в столе. Нет во мне ничего, чем заполнить чистый лист.

Отец пригрозил: «Не начнешь — будешь переписывать Псалтырь, откуда от зубов не станет отскакивать. Делом крашен человек». Начинаю.

Опрос не идет у меня из головы. Все, что там случилось, — кошмарный сон, от коего не проснуться.

Четверо возвышались надо мной. Мне подобало готовиться, но я откладывал до последнего и так и не прочел положенного.

Преподобный Коббет молвил: «Дитя, призвали мы тебя не по злomu умыслу, но по долгу. Известно нам о прогулах катехизации тобой. Посему должно нам ныне испытывать душу твою — дабы открылось нам, к чему Господь предопределил ее: ко спасению или к погибели».

Я рассеянно кивнул. Все думы были о щенке, коий ждал меня в сарае.

Пастор продолжал: «Приступим. Скажи: укради ты яблоко у соседа — что первое восстанет в сердце твоём? Своими словами».

Вопрос застал меня врасплох: он не походил на те, что задавал отец. Не о молитвенной жизни, не о доктринах, не о даре веры...

В горле пересохло. Хотелось крикнуть: «Не крал я! Ветвь через забор склонилась, яблоки на дорогу свисают...»

Стыд опалил щеки. Глаза сами отыскали отца — даже в стуле он был выше всех. Неужели видел? — помыслил я.

Я проговорил как мог увереннее, но голос дрогнул вопросительно: «Страх Господень... сознание греха».

Диакон Ноултон покачал головой.

«Дивно. Отчего же взор твой устремился к отцу, а не к Небесам?»

Я поджал губы и потупился. Силком меня не держали — я мог отпроситься и уйти, и меня бы, может, даже не стали наказывать. Но важность момента пригвоздила меня к полу.

Преподобный Коббет велел мягче: «Закрой глаза. Помолись вслух о нас, дитя. О тех, кто испытывает тебя».

Я повиновался, сияясь сосредоточиться.

«Господи... благослови... мужей сих...»

Запнулся на словах «прости им...». Образ Христа, молящегося за распинающих Его, померк в моем сознании. За

что прощать? Старейшины не сделали мне зла.

«...даруй им...»

Веки задрожали. Я чуть приоткрыл их — дабы понять, не пора ли смолкнуть.

Мое подглядывание не укрылось от диакона Ноултона.

«Ждешь одобрения или осуждения от людей?»

Отец рассматривал столешницу и едва слышно барабанил по ней пальцами. Пуще всего я боялся вопроса к нему — лгать он не стал бы.

Так и случилось.

Пастор, оттянув белый воротничок, спросил: «Брат Миллз, свидетельствуй. Как молится мальчик в доме твоём? Истинно ли взыскует дара веры?»

Меня бросило в холодный пот.

Отец тихо выдохнул — будто под ребро вбили кол — и подобрался в стуле. Заминка перед его ответом была той же длины, что перед моим. Затем молвил, не солгав, но и не высказав правду во всей суровой полноте: «Под моим прищотром — молится».

Но я стараюсь! Правда стараюсь... хоть пару слов перед сном, даже когда без сил...

Я не стерпел, почесал нос, поерзал на жестком полу. Помыслил: «Господи, да когда же сие кончится...» и тут же одернул себя.

Мистер Пейн кашлянул, и я подскочил.

«Отложим слова. Пребудь в молчании пред нами, присту-

пи к Нему в немой молитве. Краткое время».

Я сглотнул и едва заметно сместил вес. Колени затекли, горели огнем. Боль поднималась по спине, и слезы застилали глаза.

Диакон Ноултон сжалился надо мной: «Можешь сесть, коли больно, дитя».

Я благодарно зажмурился и присел на пятки. Полегчало. Однако молитва не шла.

Меня отвлекло окно, за коим резвились дети. Вспомнилось, как мы с Джеймсом и Обадаией играли в «рейнджеров и индейцев» и спорили, кто кого убил первым.

Мистер Пейн заметил: «Отвлекаешься... как ты выдержишь вечность в созерцании Господа, коли и пяти минут Ему уделить не можешь?»

Я не нашел, чем оправдаться.

Преподобный Коббет еще давал мне ухватиться за соломинку. Он наклонился и изрек почти с нежностью: «Сын мой, представь, что Господь по милости Своей отверзает уши твои. Что бы ты более всего желал услышать?»

Снаружи доносилось мягкое щебетание птиц. Я пропустил вопрос мимо ушей и заслушался их песней. Как прекрасно было бы расправить крылья, улететь к ним. Но они там — за стеной, далеко. Поют не для меня.

Пастор понял: «Радость твоя — от твари, не от Творца. Живешь ты земным, но не вечным. И ответ твой — не в словах, а в пустоте молчания, коей ты пропитан».

Я не уразумел тогда, что сие значит, но поджилки тряслись.

Мистер Пейн положил руку на Библию. Тяжкий вздох наполнил шумом кабинет: «Мальчик. Оставим яблоки, птиц и все земное. Скажи нам главное. Когда ты один и никто тебя не видит — ни отец, ни пастор, — чувствуешь ли ты в душе нечто особенное? Не только то, что грешить плохо — сие всякий знает. Не боязнь наказания, а печаль о том, что огорчаешь Того, Кого должно любить? Когда слышишь о Христе, о Его жертве — возникает в тебе не дума "так надо верить", не жалость, а робкая радость, что сие касается лично тебя?»

Обилие вопросов сбило меня с толку. Время на раздумья истекло, и сие давило. Я полез в свою память, как в карманы, пытаюсь нащупать то самое «особенное». Но коли карманы пусты, ничего нового там не появится само собой.

Единственное, что пришло на ум, — обычная Суббота. Как горожане по одному выходят к пастору разделить трапезу Господню. А я — нет.

Еще: как единственный из класса я прослезился, когда впервые читал о распятии. Учитель сказал: «Не реви, а живи так, дабы не доводить Его до слез».

И еще: как в доме собраний в думах все время крутилось «хочу домой»... разве я уже не дома?

Меня, наверное, спрашивали о действии Духа. А я витал в мечтах о щенке, кой ждет не дождется, когда я освобожусь и приду с ним играть.

Старейшины молча переглянулись. По их лицам я прочел: все было предрешено.

Отец подал голос. В нем что-то надломилось — не гнев, а глубокая печаль: «Выходи, Уильям. Жди за дверью».

Еле разогнув одеревеневшие ноги, я поднялся. Вышел и притворил за собой тяжелую дверь. Стыд и тревога изводили меня, но прохлада и полумрак коридора приняли в свои объятия и утешили.

Я задрал штанины. На коленях уже проступили лиловые синяки в сетке царапин. Я растер их с шипением и прижался лбом к косяку.

Тут сквозь щели просочились обрывки фраз. Я оцепенел, затем жадно приник ухом.

Преподобный Коббет молвил с трудом — как я, когда меня заставляют говорить то, чего не хочу: «Печально, брат Миллз, но свидетельства явны: нет в нем ни страха Господня, ни жажды святости. Покуда можем мы судить, грех Адамов, не омытый Кровию Христовой, остается на нем во всей силе. Таков не способен на добро, исходящее из любви — ибо все, что исходит от него, исходит из плоти испорченной».

Мистер Пейн добавил: «Он даже не слукавил. Лукавый изображал бы раскаяние, сыпал цитатами. Он же — пуст».

Диакон Ноултон объявил: «Нет у нас права допустить его к Причастию».

Слова их обрушились на меня не ужасом — стыдом.

Я догадывался, допускал такое в самых сокровенных душах, что таились на задворках сознания.

Когда я был младше, я замирал под одеялом всякую ночь, воображая адское пламя. Дрожал так, что стучали зубы. Представлял полное одиночество: без отца, без матери, без сестры. Один. В аду.

А после перестал. Меня учили, что никто не ведает наверняка, что ждет нас после смерти — ни старейшины, ни отец, ни сам я. Один лишь Бог.

Есть нечто похуже. То, что вердикт услышат в общине.

Диакон Ноултон продолжал: «В очах его не вижу Божественного света. Они темны, как глубокая ночь, в какую не заглянула ни одна звезда. В Писании сказано: "Око — светильник телу". Светильник его не зажегся».

Слушать сие было мучительно, но я не мог оторваться.

Дверь резко открылась и вырвала опору из-под моего плеча. Я кубарем скатился через порог и рухнул к ногам отца.

Так я лежал — униженный и пристыженный. Неопровержимое подтверждение вынесенного приговора.

Отец взирал на меня сверху вниз. С бездонной усталостью мужа, чье дитя не просто больно, а мертво при жизни.

Он наказал ровно: «Встань».

Пока я поднимался, я осознавал: не было во мне ни унции раскаяния, ни мольбы о спасении. Был срам, что отец, проживший достойную благочестивую жизнь, не заслужил тех боли и позора, кои принесет домой вместе со мной.

Отец, что не сумел привести непутевого сына ко Христу.

Я дожидался отца в конце коридора, прячась в тени от солнца из окна. Пылинки кружились в косых лучах — как было до меня и будет после. Сие казалось насмешкой.

Отец приблизился неслышно, как обычно. В движениях его не было ни ярости, кою я заслужил своим непослушанием, ни праведного огня, что вспыхивал при обличении грехов общины. Словно буря прошла, оставив одни обломки: его гордость, веру в умение воспитать сына, надежду.

Он вздохнул. Не облегченно и не опечаленно — а как тот, кому предстоит принять самое тяжкое решение в жизни.

Велел тихо: «Руку».

Я протянул правую, не зная, чего ждать. Его ладонь зашла во внутренний карман дублета. Я напрягся в ожидании розог, хотя прежде он ни разу меня ими не наказывал. Но он вынул нечто маленькое, блеснувшее в тусклом свете.

Булавка. Железная, строгая. На тупом конце — грубоватый, но узнаваемый бутон. Закрытый тюльпан.

Он развернул мою ладонь — резко, хотя без злости, — и впечатал в нее булавку. Она впитала его тепло, что обожгло мою кожу сильнее всякого мороза.

«Изготовил лучший мастер в Гааге. Отец вручил мне ее со словами: "Пусть будет она тебе как узда и шпора. Узда — дабы обуздывала греховную природу. Шпора — дабы подстегивала стремиться к святости"».

Я озадачился: Гаага — где сие?

Наши взоры встретились. Он заглянул в самое мое нутро. Что хотел передать? Чего не мог выразить словами?

«Я носил ее тридцать лет. Считал знаком Божиего завета. Ныне — твоя путеводная звезда. Помни, чему я тебя учил, и... не сбивайся с пути».

Он не стал повторять доктрину «тюльпана» — она висела в воздухе между нами.

Приколол булавку к моей накидке, прямо над сердцем. Острие проткнуло ткань с легким сопротивлением. Затем разгладил складки — неторопливо, тщательно. С той же бессмысленной аккуратностью, с какой родители выстирывают одеяние сыну в тюрьму, кой, быть может, никогда не выйдет на волю и не узрит света.

К горлу подступил ком, но я сдержался. Коли отец, знающий о вере и долге все, не оспорил вердикт — значит, так тому и быть.

Еще не выйдя за порог, я стал тем, на кого смотрят. Не с отвращением — с благочестивой жалостью. Тем, из-за кого понижают голос в доме собраний.

С того дня фамилия наша зазвучала иначе: «Миллз... да, тот самый, у коего сын...». Сочувствие — матери, сестре.

Булавка сделалась мне клеймом, что выжигает душу. И самая крепкая вера отца не спасла меня — но он дал мне все, что должно дать птенцу, прежде чем тот упорхнет из гнезда. Но прыгать... страшно.

Отец ушел в себя: его плечи, недавно напряженные, опали. Что бы он ни чувствовал, свой долг он исполнил.

Он отступил на шаг, окинул меня взглядом — с головы до пят, задержавшись на булавке, — и кивнул сам себе. Развернулся и исчез за поворотом. Накидка шуршала по стене, а шаги отдавались в тишине глухо — как коли бы он уходил с места заклятия.

Я выждал немного и побрел следом. Ибо больше мне некуда было идти.

## Народ столпился на въезде в Ипсвич.

Барбара вытянулась в первом ряду, потеряла равновесие и ухватилась за рукав соседа. Я же потирал заледеневшие пальцы позади всех — с матерью и слугой.

Чья-то твердая рука легла мне на плечо, и я вздрогнул. Мистер Болтон, не проронив ни слова, провел меня сквозь толпу. Люди расступались, но я ловил на себе их взгляды: сочувственные у одних, недоуменные у других.

Повозка въехала в ворота и остановилась. Пристав распахнул дверь: «Уильям Миллз-старший, собственной персоной. Доставлен по предписанию суда».

Отцу не подали руки. Он поскользнулся от толчка в спину — глухой стук колена о порожек заставил меня съежиться, как когда я читал о шествии Христа на Голгофу.

Кто-то рванулся вперед, но Болтон удержал его.

Приставы уехали.

Барбара бросилась обнимать отца. Я замедлил шаг, но, видя его шаткость, приник к нему и помог устоять. Сквозь грубую шерсть кафтана я чувствовал его дрожь. Его ладонь — сперва нерешительно, затем крепче — легла мне на спину и одарила лаской.

Болтон распорядился: «Позовите доктора Мэннинга».

Лайонел сорвался исполнять, но отец остановил его: «Во врачах нет нужды».

Кучер осведомился: «В Чебакко, сэр?»

Мистер Беннет вступил: «Сперва обсудить насущные вопросы».

Отец согласился и предписал кучеру: «Заберешь жен и детей».

Поманил дядюшку Кейдена с Айзеком и направился к дому собраний.

Пока кучер усаживал в повозку Барбару, я улизнул и увязался за отцом.

Он бросил, не оборачиваясь: «Тебе со мной нельзя».

Я замер, глядя на его удаляющуюся спину, затем прибавил ходу.

«Вернись к матери. Я не оставлю жен на попечение кучера в предзимнем лесу».

«Но отец, я хочу с тобой».

Я тут же осекся, ужаснувшись своей дерзости. Окружающие зашептались: «Несмирный...»

Отец развернулся стремительно — взор суров, тон стален: «"Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Сущий на небесах"».

Я пристыженно понурил голову.

«Да... сэр».

Его лицо смягчилось.

«Хорошо. Будешь гостем. Но ни звука без дозволения».

Обратился к слуге: «Кейден, поезжай тогда с женами». Дядюшка Кейден с ружьем удалился.

На скамьях чинно восседали члены городского совета. Свободные люди Ипсвича, что были не в отъезде. Мистер Джуэтт стряхнул с плеча стружку — видно, сорвался с починки мельницы.

Айзек сел за столик у трибуны, а я — позади всех, на дальней скамье для слуг. Мужики оборачивались на меня — на крылатую свинью я походил, что ли?..

Секретарь возгласил: «Благодать от Господа Отца нашего. Внеурочное собрание объявляется открытым. Слово предоставляется комиссару Уильяму Миллзу-старшему».

Отец встал за кафедру, разложил бумаги ровными стопами — каждая на своем месте, не хуже солдат в строю.

«Судья Дадли даровал мне свободу. Не по милости, а в назидание нам, господа оппозиционеры. С должности меня сняли. Отныне я не отдаю приказы, но советую тем, кто их отдает».

Я смотрел на него и корил себя: он выдержал тюрьму, ибо думает о вечном. А я не в силах на скамье усидеть смирно.

Мистер Болтон поднялся бесшумно.

«Существенный был штраф?»

«На всю сумму недоимки. Плюс пенни за пренебрежение новыми налоговыми законами».

Отец обвел зал взглядом и сжал края трибуны.

«Вижу в сем промысел Божий. Ангел Господень вывел Петра из темницы, оставив стражу в недоумении...»

Кто-то перебил его: «Надобно договариваться с Эндроссом, коли пошел на уступку!»

Другой парировал: «С сим тираном?! Наше дело богоугодно, коли Господь вырвал Миллза из пасти льва!»

«Тиран не тиран, а здоровое зерно в его речах имеется! Закон и порядок превыше всего! Почто было бунт устраивать? Не могли миром порешать, али как? Так дела не делаются!»

Секретарь возложил руку на Библию. Выкрики стихли.

Мистер Бернэм спросил в безмолвии: «Что насчет остальных? Эплтона? Эндрюса? Гудхью? Уайза?...»

Он продолжал перечислять фамилии, но при упоминании преподобного Уайза я забылся.

Мистер Аллен вскочил, пылая праведным гневом: «Ничего святого у них нет! Арестовать пастора... и кому нам нынче внимать? Англиканцу, что рассыпается в поклонах алтарю и молится по книжонке от короля?»

В памяти мелькнула белая риза отца Джона Джеффри — она делала она его похожим на голубя в волчьей норе. И плевок отца ему под ноги, когда тот протянул хлеб со словами «Тело Христово».

Тембр отца был тверд: «Остальных оставили в заточении. Им вменяют не абы какой "бунт против налогов", а государственную измену. Залог — тысяча фунтов за Уайза, по пятьсот за остальных».

Зал ахнул, и поднялся ропот.

«Да сие же целая флотилия, набитая рабами!»

«Кому, как не Дадли, назначать такие суммы? Ему-то тысячу на билетик всей колонией собирали».

«Я тогда последнюю корову продал. Верил ему, дурак, что он за нас горой встанет. А он лег — королю на ковер».

«Да почто ему мы? Он там себе гнездышко уютное в Лондоне свил и козни строит, Иуда».

«Вот с него денежки и спросим. Скопил себе небось на новенький паричок».

Секретарь хлопнул по столу.

«Во имя порядка! Фамилии всех, кто чинит помехи собранию, я доложу преподобному Коббету».

Он демонстративно поводит пером над книгой. Казалось, перепугался не я один. Гул ослаб.

Из первого ряда поинтересовались: «А что другие колонии? Остались у нас союзники?»

Болтон заявил негромко — громко он и командовать не умел, а все его слушались: «Сейбрук — брат нам по отцу. За Коннектикут с Нью-Хэйвенем я ручаюсь: Трит — надежный человек. Разделяя нас, они делают нас сплоченнее».

Секретарь обратился к нему: «Брат Болтон, коли уж Вы встали. Слово предоставляется депутату нижней палаты Девону Болтону».

Болтон сменил отца за кафедрой. Я разглядывал отсутствующий мизинец на его руке и кольцо в носу — точь-в-

точь как у бычка, коего ведут на заклание.

Он молвил: «Я уже не депутат, но отрадно видеть, что старый порядок продолжает жить в сердцах Детей Божиих».

Развернул записи — более помятые, нежели у отца; разгладил на деревянной поверхности.

«Пускай Дадли цензурит прессу и всеми правдами и неправдами старается заставить Уайза молчать — его проповедь разлетелась по городам и воодушевила людей на борьбу. Он отказался от залога и напутствовал вложить средства в другого переговорщика в Лондон. Того, кто донесет до короля правду, а не раболепство».

Внутри кольнуло. Еще живо во мне воспоминание, как преподобного Уайза уводили под конвоем. Его жена, не вытирая слез, стояла на крыльце и прижимала к себе детей. А он не обернулся. Ни разу. Он брыкался и кричал пастве: «Не ропщите на Господа! На кесарей — ропщите!»

На его месте я делал бы все, дабы не разлучаться с семьей, с отцом.

Но, может, в том и есть любовь — уйти, когда надо, коли оттого зависит будущее семьи. Потому как иначе нельзя. Потому как, коли останешься, любимые будут страдать.

Я сам не уразумел, как задремал.

Разбудило меня мимолетное касание — сборщик десятины пощекотал мне нос лисьим хвостом на своем жезле. Цыкнул, покачал головой: «Бедное, бедное дитя».

И пошел дальше, приговаривая себе под нос то же.

Я вскочил. О, Боже! Отец видел меня спящим? В доме Божиим?!

Сердце билось, точно барабан перед казнью. Услышав его шаги, я рухнул на скамью и закрыл глаза — не в силах вынести встречи с его взглядом.

Его тень упала на меня. Он постоял надо мной, затем бережно взял на руки и понес к лошади. Аромат его мыла с медом и лавандой утешал. Лишь булавка-тюльпан, зажатая между нами, впивалась мне в грудь.

Отец изрек устало: «Итак, бодрствуйте... ибо не знаете ни дня, ни часа, в какой придет Сын Человеческий».

Прозрел ли он мой обман, или нет — я не ведаю.

## За ужином отец сказывал нам о былом.

«...были времена, я держал в руках не ружье, а мотыгу. Мать молилась по ночам, дабы лорд не увеличил нам аренду. Церковь Англии теснила нас за веру Женевскому пастырю».

Я не удержался: «И Вы ушли?»

«Ушел. Многие возвращались из Нового Света воевать за короля, а я плыл сюда. Семь лет трудился мельником, отрабатывал корабельный билет, кров. Был честен и усерден».

«А взамен?»

«Взамен я стал свободным человеком. Меня приняли в приход, дали землю. Предназначение каждого, Уильям, — служить Отцу. Кто — в поле, кто — в ополчении, кто — в молитве. Но служить. И я стал служить. С тех пор не должен никому, кроме Бога Самого».

«А потом?»

«А потом — ополчение. Война с индейским корольком. Первое, что я сделал — купил сие».

Он кивнул на ружье на стене.

«Но сие уже иная история».

Он воззрел на меня, во взоре — решимость, за кою его уважали, и еще — обличающая прямота.

«Ты вырастешь, Уильям. Сколько же всего я упустил в

тебе, не научив страху Господню».

Я прошептал: «Сэр...»

Осекся. Нащупал в кармане булавку и уколол палец.

Светлые глаза отца оставались неумолимыми, но я разглядел в них проблеск надежды.

Тут Барбара звонко спросила: «Отец, а почему Уиллу нельзя причащаться с нами? Он же хороший!»

Я замер, ожидая, что он сделает ей замечание за «отца». Однако он не сделал.

Она выпалила: «Он разрешил мне щенка!»

Я шикнул на нее, но поздно. Отец опустил приборы и переглянулся с матерью встревоженно.

«Какого щенка?»

Пришлось принести черный с палевыми подпалинами комочек из свинарника.

Я пробормотал, глядя в пол: «Он увязался за нами... от соседей. Я обещал: дойдет за нами до дома — возьмем... и он дошел. Мистер Эндриус все равно в тюрьме! А его жена...»

Отец оборвал меня: «Так. Выходит, ты не только берешь чужое, но и учишь сестру утаивать от отца?»

Я не нашел слов. Сунул щенка за пазуху и сцепил руки за спиной, выкручивая пальцы.

Барбара вступилась: «Но, отец, он будет куриц защищать!»

Он напомнил ей: «У нас нет куриц».

Сестра не растерялась: «Тогда свиней!»

Отец устало выдохнул.

«Хорошо. Я договарюсь с мистрис Эндрюс».

Тишина. Решив, что мне можно вернуться за стол, я сел и привычно поставил ногу на перекладину стула.

Тотчас прозвучало: «Уильям. Ногу. Негоже».

В дверях возникла тетушка Клара, окликнула: «Мистер Миллз!»

Отец отложил салфетку и вышел за служанкой. Я придвинулся на краешек стула, дабы лучше слышать.

В проеме показалась рыжеватая голова Айзека. Он молвил: «Сэр... прошу увольнительную на две недели. В Нью-Йорке у сестры родилось дитя».

«Поздравляю сестру твою».

Отец оглядел его.

«Вот как... в тот раз ее старшеньких ты величал "вопящими врединами". Что же, сей — тихий и покладистый?»

Айзек пожевал губу.

Отец же продолжил: «Две недели... ровно столько — срок сборов ополчения. И шестнадцать тебе стукнет аккуратно. Удобно».

«Сэр, клянусь...»

«Не надо. Не клянись понапрасну. Я не слеп. Говори, чего страшишься».

Айзек сглотнул: «Он... "лютый"... т-то есть, капитан! Требуется петь гимн Королевства. На проповедях наших был,

смотрит волком. Говорит: "Вы, пуритане, слишком много о себе воображаете. Приказ Короля — навести порядок. По струнке ходить будете". И хлыстом себя по бедру так угрожающе: хлыщ, хлыщ... я не трус, Вы же знаете! Служить колонии — готов! Но не... ему».

Отец отозвался бесцветно: «Понятно. Что ж, он исправно исполняет инструкции. Мы для него — фанатики. Спит и видит, как бы выбить из нас дух сопротивления, сломать общинную солидарность».

В голосе Айзека вспыхнула мольба: «Так... можно?»

Отец долго взирал на него.

«Поезжай. Обойдусь без писаря. Но помни: бегство не искупает долг. Чему быть, того не миновать».

Айзек, едва не теряя чувства от облегчения, благодарно стукнул каблуками и убежал собираться — одна полоска белого льна на его шее взметнулась в воздух.

Я поковырялся в своей миске. Все грехи дома ложились на плечи отца. И мои — тягчайшие. Коли бы не было таких, как я, — отцу не пришлось бы так мучиться.

Неужто я — крест его?

# Дверь распахнулась, и мистер Когсуэлл втолкнул меня в зал.

«Миллз! Твой обалдуй!»

Отец оторвался от счетных книг.

Сосед потряс меня за шкуру.

«Камушками ему захотелось пошвыряться! Окно мне разбил! Да когда? В день Субботний!»

Я шмыгнул носом, чувствуя, как шея горит от натянутого воротника.

Когсуэлл настаивал: «Больно мягок ты с ним, Миллз. Избалуеть — считай потерян. Выпороть его как следует!»

Отец ответил с холодной учтивостью: «Непременно».

Закрыв за соседом, он вжался в дверь лбом. После чего усадил меня за стол и раскрыл Библию. Указал на строку: «До десятой главы».

Я пытался читать, но слова плыли и не укладывались в голове.

«...ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо коли кто видит, то чего ему и надеяться?»

Я перечитывал сии строки вновь и вновь, но не обретал понимания.

Сосчитав страницы до десятой главы, я с тоской вздохнул.

Подумал и потянулся к «Путешествию Пилигрима». Раскрыл на месте, где Христианин сражается с Аполлионом.

«...и подумал я: все пропало. Но меч свой я не выпустил из рук».

Из спальни Барбары доносились голоса.

«...продолжай, Барбара. Третий вопрос».

«Что есть вера?»

«Ответ».

«Вера есть дар Божий, коим мы принимаем Христа и обетования Его».

«Хорошо. Четвертый».

«Как много существует Богов?»

«Ответ».

«Один лишь живой и истинный Бог».

«И последний».

«Какова цель жизни человека? Прославлять Господа и вечно наслаждаться Им».

Сестра отвечала без запинки. Безупречно.

В тоне отца поселилась редкая теплота: «Верно. Ты прилежна, дочь моя».

Послышался шелест одежд и тихий поцелуй в лоб.

Зал утопал во мраке, и лишь из-за приоткрытой двери сестринской спальни струился мягкий свет свечи. Несколько шагов отделяли меня от них, но разрыв сей казался непреодолимым.

Огонь в очаге жег спину, а нос коченел от холода. Неви-

димая рука стиснула горло, и мне померещился смрад серы. Я набросил на плечи отцовскую накидку, что лежала на сундуке, вдохнул аромат его мыла.

Откинувшись на спинку стула, я посмотрел в потолок.

«Мистер Уайз, скорее бы Вы вернулись...»

# Осенний ветер тревожил ставни.

Отец усадил меня с пером и бумагой — протоколировать собрание, покуда Айзек в отъезде. Велел: «Пиши внятно. Сегодня вершатся судьбы».

Я примостился в углу кабинета, придвинул чернильницу и приготовился. Дрожал от волнения пуше, чем когда-либо. Поспевать было тяжело, и приходилось просеивать, что записать, а что опустить.

Мистер Бернэм гремел: «...вот и мыкаемся по углам. Запрещаешь народу собираться — получай больше собраний, но тайно».

Мистер Болтон заметил сухо: «Эндрос считает, что так уберется от заговоров».

«Как же. В его совете одни массачусетцы с плимутцами. Другим дорога не по карману уж. Сам себя в угол загнал».

Отец вступил: «Не обольщайтесь. Он предпринял попытку подвести нас под английский стандарт — не вышло. Но будут и иные».

«Не по зубам ему наши законы. Посмотрим, как он прокормит Доминион с пошлин на выпивку».

Я строчил, стараясь не упустить ни слова. Одну кляксу нечаянно размазал — она отпечаталось на моей руке. Буквы расплзлись, я зачеркнул, написал заново.

Отец подвел черту: «Будем собираться вразброд. Малыми

группами, в разных местах. Так надежнее, что не допустим лазутчика».

Болтон как-то пристально воззрел на него, прежде чем перевести тему: «Мэзер шлет хорошие новости. Он и его переговорщики готовятся отправиться в Лондон. Скоро у нас будут все доказательства».

Отец признал неохотно: «Как ни крути, а без "койота" не обойтись».

«Койот». Я записал, и слово легло на бумагу клеймом.

Мистер Уиппл прочистил горло: «Кхм, я знаю одного. Зимой он приведет в Ипсвич рейнджеров Черча».

Бернэм возмутился: «Брат Уиппл! Ты, что ли, лишился разума? Неужто думаешь, прихвостни Эндраса нового заговора не почуют?»

Уиппл защитился: «Типун тебе на язык, брат Бернэм. "Лютый" сам его вызвал».

«Объяснись».

«Изволь. Французы, знаешь ли, не дремлют. Мутят абенаков против нас: англичане, мол, земли ваши отобрали. Те обозлились — и на тебе, набег на границе».

«И?»

Уиппл развел руками.

Отец вклинился: «"Лютому" велено собрать в Ипсвиче резервное войско для экспедиции в Мэн — ответного удара. Он связался с Кларком, и тот предоставил рейнджеров».

Бернэм фыркнул пренебрежительно: «Да в чины он рвет-

ся, "лютый". Наших допек, ныне за плимутцев взялся».

Отец рассудил: «Должен признать — в чем-то он прав. Рейнджеры славятся вольными нравами. А праздные руки — орудие Дьявола. Пускай муштрует их. А мы... используем суматоху».

Мистер Уиппл выдержал паузу.

«Ипсвич лопнет по швам... постоянные дворы не разместят целый полк. Что ж... да свершится воля Господня».

По завершении собрания мистер Болтон придирчиво проверил мои записи. Отчитал беззлобно, но без послабления: «Пишешь, как курица лапой. Никуда не годится. Где помарки — перепиши».

Я кивнул и взял новый лист. Но в думах все крутилось «койот».

## Сон бежит от меня.

Сон бежит от меня. Сперва дядюшка Кейден на чердаке скребся, как барсук в норе, утепляя дом глиной и ветками. Когда и он затих, из-за стены родительских покоев просочились голоса.

Матери — с произношением, к коему я привык с рождения — выговаривал строки Писания: «...народ твой будет моим народом, и твой Бог — моим Богом».

Отец молвил бархатисто: «Видишь, Руфь оставила все — богов своих, дом отца своего. Однако не по принуждению. По любви».

Матушка попробовала слово на вкус: «Оставила... сие дальняя дорога. Иной раз чудится, что иду по ней одна».

«Не одна. Господь ведет. А я — скромный проводник на твоём пути, моя Агарь».

Я зажмурился, вжался в подушку. Даже индейнку отец неустанно просвещает. А мне — булавка. И все на том.

За стеной вершится спасение иной души. Слушать сие — хуже пытки.

## **Уборка в свинарнике обычно лежит на слугах, но сегодня что-то переменялось.**

Отец призвал меня на подмогу. Я перекидывал солому без усердия. Он молвил, опершись на вилы: «Смотри, засов за-  
двинь. А не то призрак скотоложца придет, что праздных  
мальчиков в свиней превращает».

Я воззрел на него непонимающе, но он улыбнулся — об-  
личая шутку. Я ответил. Он так редко шутил, что я отвык.

Но внутри меня не было веселья. Я наблюдал, как отец  
трудится, не покладая рук.

Когда любишь — накормишь детей и животину, даже ко-  
ли сам валишься с ног. А я? Как отец нуждался в подспорье,  
явился лишь на третий оклик, отлынивал.

Сие ли не доказательство словам старейшин — не дано  
мне любить?

Когда я нагнулся за ведром воды, из кармана выпала мо-  
нета. Чужая, с профилем французского короля. Я застыл в  
нелепом поклоне.

Отец замолчал. Вилы в его руках замерли. Вопросил:  
«Что сие?»

Я пролепетал: «Н-нашел... на берегу. Еще летом».

Отец вторил: «На берегу... где именно?»

«У скалы, что как коровий язык. Мы... то есть я, лазал там, искал развалины заброшенных колоний».

В дверях возникла хрупкая фигура матери, услышавшей наши голоса. Отец обернулся на нее, и она потупилась.

Я ждал выволочки за то, что утаил. Но отец лишь задумчиво забегал глазами, будто читая строки в своих думах.

«Выходит, они уже тогда там шныряли. Прямо за стеной миссии. А я... своими руками вас туда...»

Он умолк, рассматривая монету.

«...и ты ничего не видел? Никаких чужих челнов? Никого, кто говорил бы на странном наречии?»

Я покачал головой.

«Никого. Только наши. Мы просто бродили по лесу».

Пока отец не ушел, я отважился спросить: «Мы... Вы... больше никогда не позволите нам поехать, сэр?»

Мне так хотелось вновь вдохнуть аромат вареной кукурузы, что окутывал деревню матери, повидать дядю Джозефа, поучиться у него охоте на рыбу с копьем...

Отец неожиданно возложил руку мне на плечо.

«Поедете. Непременно. Но сперва... вышибем папистов обратно за Сагадахок. Дабы вам ничего не угрожало».

Впервые за долгое время в его речах сквозил не холод, а... трепет?

Нашу беседу прервали явившиеся приставы.

Отец чеканил слова: «Сия земля и дом на ней — собственность семьи Миллз. Так было, есть и будет».

Он выставил руку Айзеку, и тот вложил в нее папку с документами. Отец порылся в бумагах, извлек дарственную и развернул перед нотариусом.

«Вот. Мое право владения. Приобрел его честно, дав клятву свободного человека».

Он владел собой, но я улавливал нотки раздражения.

«Позвольте?»

Нотариус, нацепив очки, бегло окинул текст, повернул лист к отцу и ткнул пером в низ страницы, где стояла подпись губернатора Леверетта.

«Видите ли, мистер Миллз. Мне жаль, но дарственная составлена с изъяном. Подпись заверило упраздненное правительство. Печати Его Величества на ней нет. Власти колонии бренны, а король — вечен. Посему документ не имеет силы. Вам надлежит пройти подтверждение».

Он выудил из портфеля договор аренды.

«До тех пор, увы, распоряжаться землей по собственной воле Вы не в праве. Прошу ознакомиться с договором, скрепить его подписью и вносить плату ежемесячно».

Айзек перестал дышать. Я — тоже.

Отец уточнил, знакомясь с договором: «Налогов мало? Ныне и аренду собственного дома платить?»

Он похлопал по карманам.

«Какая досада. Пера я с собой не взял».

С сими словами он вытер о договор перчатки, перепачканные в свинарнике, скомкал бумагу и забросил ее между

очковых линз нотариуса.

«Убирайтесь. А не то толковать будем с раскаленной ко-чергой».

Мы вернулись в дом. Стыда не было — меня распирали гордость за отца.

Я хихикнул, вспомнив урок истории мистера Роджерса о некоем джентльмене по фамилии Мэйсон, коего нью-гэмпширцы швырнули в очаг за посягательства на их земли.

Отец молвил: «Запомни, Уильям, дом мужа — его крепость».

В кабинете он плеснул себе сидра и уселся играть на лютне. Моего присутствия не замечал.

Уже раскрыв было рот, я умолкнул: меня заинтересовали бумаги с моими домашними заданиями на столе отца. Из папки выглядывал уголок листа, на коем красными чернилами была обведена пометка «X». Я сощурился и разобрал сноски витиеватым отцовским почерком: «Лгать любит. Совесть не грызет. В речах сбивчив — двух вопросов довольно, дабы запутать. Мир видит черно-белым. Ответственности бежит. Мечтатель. Негоден».

Первые ноты музыки вывели меня из оцепенения. Я переминался с ноги на ногу, зная, что благоразумнее было бы оставить отца в покое. Но пытливость во мне пересилила.

«Оте... сэръ, кто такие "койоты"?»

Он посуровел.

«Ты что... снова подслушивал? Уильям, то, чем ты зани-

маешься, именуется шпионажем. Карается виселицей!»

Потом добавил тише, беспристрастнее: «...все же старейшины не ошиблись на твой счет».

Я дернулся, как от пощечины, и отвел взгляд. Отец дрожащей рукой провел по волосам и тяжело выдохнул.

«"Койотами" зовут тех, кто торгует с французами в обход королевских запретов. Покрывает преступников, беглых слуг, индейцев. Именно "койоты" помогли исчезнуть в Нью-Джерси убийце Чарльза Первого».

Гнев его поутих, но для меня сие было подобно листу подорожника на глубокую рану.

Все же я не удержался: «Сэр... сие из-за них французы стали забредать к нам?»

Отец ответил не сразу.

«Отчасти. На границе их много. "Койоты" роют норы, по коим сюда проникают шпионы и смутьяны».

Он взглянул в окно.

«И самое скверное: никогда не знаешь, на чьей они стороне. Вот торгуют с французами, а завтра — донесут на англичан, коли выгодно».

За дверью раздалось резкое «кхм-кхм», следом — гулкий стук, от коего вздрогнула ручка. Дядюшка Кейден.

«Сэр, к Вам...»

Толком не представленный, «лютый» ворвался с индейцем-бегуном. Барбара юркнула с лестницы, потянула меня за рукав. Но я выбежал в коридор и прильнул глазом к за-

мочной скважине.

«Лютый» прохрипел командным тоном: «Миллз. Дело государственной важности. Без церемоний».

Швырнул на стол депешу: «Читайте. Приказ губернатора Эндроса».

Отец зашуршал бумагами.

«...привести ополчение в состояние полной боевой готовности... надлежит собрать войска из окрестных городов для экспедиции в Мэн... предоставить отчеты о маршрутах для переброски подкреплений... вызвано вероломным нападением французских сил с союзниками. Запад Нью-Йорка... есть прямая попытка разорвать союз с ирокезской силой... промедление приравнивается к измене».

Бегун вставил ремарку: «Все случилось на моих глазах, мистер Миллз. Дым до небес, крики... французы с абенаками — словно саранча».

Сердце билось так громко, что, быть может, его было слышно в кабинете. Я помнил, что саранча делает с полем.

«Лютый» вернул слово: «Рейнджеры капитана Черча встанут в Ипсвиче для подкрепления и отдыха. С ними будут индейцы. Вам, Миллз, с ними работать. Смотреть, дабы они не перерезали друг друга и не разбежались по домам».

Внутренности сжались, когда мне показалось, что отец заметил меня. Через замочную скважину — быть не может!

Однако он подозвал слугу и что-то шепнул ему на ухо. Дядюшка Кейден вышел из кабинета, подхватил меня и понес

вниз по лестнице.

«Пойдемте-ка, сэр».

Я, взбудораженный, набросился на него с расспросами: «Дядюшка Кейден, неужто война придет в Чебакко? А можно мне взглянуть на "койотов"? А можно...»

Слуга мягко приструнил меня.

# Ранним утром матушка помогала мне собираться на занятия.

Воздух был свеж и туманен. За окном серебрились последние увядающие листья.

Барбара вздохнула: «Эх... как там отец? Матушка, почему нам нельзя с ним на съезды?»

Матушка аккуратно расправила складки на моем воротнике.

«Потому, дитя мое, что ваше дело — учиться. А дело отца — обеспечить нам мирный кров. Так что не сетуй на скуку. Вознеси молитву, дабы труды его увенчались успехом».

Барбара приуныла, но вновь встрепенулась: «Матушка, а как вы с отцом повстречались?»

В черных глазах матери мелькнула озорная искорка — такую я порой видел в собственном отражении.

«О... боюсь, сия история не прибавит чести вашему отцу, дети мои».

Барбара подперла голову руками: «Тем интереснее!»

Я тоже оживился. Редко матушка была такой — не смиренной женой советника, а дикаркой с необузданных берегов.

Она сдалась: «Что ж. В те дни мой брат, ваш дядя Джозеф, служил бегуном. Нес важную переписку. И вот напал на него

молодой сорванец, намереваясь выхватить сумку...»

Заколола мою накидку булавкой-тюльпаном.

«...Джозеф схватил его за руку и как закричит! Я выбежала на шум, а там брат, готовый пронзить нахального лиса вилами. Ох, что с ним случилось бы, не вступишь я за него...»

Барбара хихикнула: «Всыпали бы розгами?»

Я едва выдохнул: «И сие — наш отец? Он был... бедокуром?»

«О, еще каким! А уж как он с соседом нашим, мистером Эндрюсом, кутил... пьяные дебоши устраивали, что весь Чебакко стонал... пока ему не пригрозили изгнанием из колонии, коли не остепенится».

Мы с сестрой ошарашенно переглянулись, не понимая, говорит ли матушка правду или небылицу. На душе отлегло: выходит, отец и сам в юности вел себя не лучше меня! С той лишь разницей, что он взялся за ум.

Матушка ухмыльнулась бесстыже и уселась наставлять дочь в вышивании кружев. Напутствовала меня: «Ступай, сын мой, дядюшка Кейден ждет. И запомни: Бог видит все. И то, что сокрыто под черным дублетом».

Ученики молились о ниспослании веры осиротевшей пастве преподобного Коббета и Божиим благословением новому пастору Хаббарду.

Я считывал их одухотворенные лица и тщетно пытался им подражать. Но в уме, словно дьявольское наваждение, вста-

вала иная картина: как отец, углубившись в чтение, не заметил полуоткрытую дверь сарая и вошел в нее так усердно лбом, что книга взмыла ввысь.

Колени пылали от долгого стояния на протертом полу, и с каждым моим ерзаньем половица предательски скрипела.

Когда же нелепый смешок вырвался у меня из груди, я, не в силах терпеть боль, опустил на краешек скамьи.

Гул копыт донесся издалека. Дети разом вытянули шеи к окнам, замерли.

Я не выдержал. Стал вертеться, шептаться с соседями по скамье, тыкать пальцем в сторону улицы. Мистер Роджерс стукнул указкой по столу. Дети втянули головы в плечи.

Но меня сие не остановило. Я, позабыв о приличиях, сорвался с места и подбежал к окну, распахнул ставни.

Встревоженные горожане выходили из домов. Над Ипсвичем повисла тишина, нарушаемая лишь цоканьем подков о мостовую и ржанием коней.

Мимо школы промчал рейнджерский отряд — не менее двух дюжин с индейцами, коли верить глазу. Отец говорил, что саконеты — союзники, но выглядели они пугающе.

За спиной зашевелились — другие смельчаки поднялись, дабы тоже взглянуть.

Учитель рывкнул: «Сидеть!»

Другие сели. А я остался. Не мог оторваться.

Энсин нес вымпел с крестом Святого Джорджа и четырьмя мужами на коленях с пылающими сердцами в руках.

Боль от розог пылала на бедрах, но я терпел, глядя на солнечные зайчики на полу. Мистер Роджерс, довольный смиренной тишиной, развесил перед классом карту колоний.

Мальчишки рядом шептались. Я наострил уши.

«...дед говорит, французы все ближе. Жгут, грабят...»

Внутри меня что-то екнуло. Война — не вымысел. Она там, за холмами. Настоящая.

И подумалось мне: что, коли уйти туда? Унести позор подалее от дома, посвятить себя bravому делу.

Идея была безумной. И подстегивала к действию.

Я наклонился к близнецам, Джеймсу и Обадае, что сидели позади. Шепнул: «Они уехали к дому собраний. Сейчас или никогда».

Джеймс усомнился: «Но как мы уйдем?»

Я дернул плечом: «Обадаея может прикинуться, будто на него накатила дурь».

Кто мог подумать, что он послушается без колебаний!

Он издал звук, похожий на предсмертный хрип, мешком повалился на пол и забился в судорогах. Сие было столь убедительно, что мороз пробежал по коже — не Сам ли Господь поразил его за мой греховный умысел?

Но когда перепуганный учитель бросился к нему с молитвой на устах, теряя на бегу шляпу, мои сомнения утонули в пьянящем чувстве победы. Мы с Джеймсом выскользнули в пустой коридор.

Угол дома загораживал обзор, но кое-что нам удалось разглядеть.

«Лютый» стоял навтыжку у крыльца дома собраний. Осанка ровная, подбородок высоко. Стукнул ребром ладони себе по плечу. Новоприбывший лейтенант и его рейнджеры спешили.

Я затаил дыхание в предвкушении.

Капитан шагнул вперед, встал с лейтенантом усы к усам и молча уставился в глаза, как вожак своры, утверждающий свое главенство. Лейтенант выдержал его натиск. Затем «лютый» приблизился к энсину, вырвал вымпел Плимута из его рук и воткнул в землю у ног своего сержанта. Лишь тогда он медленно кивнул лейтенанту козырьком шляпы и, развернувшись на пятках, удалился.

Лейтенант взмахнул рукой, давая рейнджерам вольную. Сам он оглядел улицы Ипсвича по-хозяйски — точь-в-точь как пират на палубе захваченного корабля.

# Отец вернулся со съезда сумрачный, безмолвный.

Мистер Роджерс донес ему о моих проступках. Я ждал гнева, наказания. А получил ту же усталую кротость.

Он не спросил, за что меня выпороли. Не посадил читать Библию. Лишь стянул мои брюки, дабы убедиться в следах от розог. Я стоял перед ним, не зная, куда деть глаза.

Он устал от меня. Принял, что я — бич его.

На душе стало горше полыни.

Отец сел за стол, макнул перо в чернильницу и вывел краткую записку. Протянул ее мне.

«Ступай. Разбуди дядюшку Кейдена. Скажи — собираться. Доставьте приглашение лейтенанту. Рейнджеры расквартировались в "Спарксе"».

Я сложил записку и сунул за пазуху, даже не заглянув в нее. Выбежал вон, радостный, что есть повод покинуть дом.

Дядюшка Кейден шагал позади — он не поспевал и приваливался с криком на больное колено.

Ипсвич, всегда такой чинный и благочестивый, вывернули наизнанку. Жители жались по углам — чужие в собственном городе.

У колодца рейнджеры мылись в одних рубашках — мокрых, прилипших к телу. Один задрал подол и утер лицо. Жены от-

ворачивались, прикрывались передниками, но одна замерла, обернулась — и тотчас получила подзатыльник от старшей спутницы: «Не гляди, бесстыжая!»

Дальше — у телеги, перегородившей полдороги — двое выгружали бревна. Бранились так, что у меня уши закладывало.

«Да возмись ты, елки-моталки, за конец как надо! Дубина стоеросовая!»

«Сам берись, коли такой умелец!»

Первый поскользнулся, заехал бревном второму по плечу. Тот взвыл, но не обиделся — расхохотался и вытер пот рукавом. Решил: «А завтра к гуди Дэйн завернем. Крыша у нее того... прохудилась. Замерзнет, бедняжка, в холодину такую».

Второй согласился: «Дело говоришь. И дров ей наколем». Дядюшка Кейден покачал головой.

«Каковы богохульники, но намерения добрые. Неисповедимы пути Господни».

Я старался глядеть себе под ноги, но взор то и дело любопытно поднимался. Иные шарахались от чужаков, как от чумных: «Господи, помилуй. Что за нашествие?»

На крыльце ординария дядюшка Кейден тяжело опустился на скамью.

«Иди, я тут подожду».

Я толкнул дверь. От духоты внутри сперло дыхание. Ординарий походил на зверинец: всякий вытворял, что душе

угодно, и никому не было дела до приличий.

Рейнджеры и индейцы играли в кости, не обращая внимания на отца Джона Джеффри, что силился вразумить их: «... ибо сказано: и не упивайтесь вином, от коего бывает распутство; но исполняйтесь Духом...»

Кто-то шлепнул кости о стол и заорал: «Моя взяла!». Индеец молча протянул кружку соседу под носом у распинаящегося англиканца. Местные, что осмелились зайти, засели по углам с поджатыми губами.

Я протискивался между столами и старался не наступать никому на ноги. Некто задел меня локтем и бросил: «Малец, не мельтеши!» — но не зло, без угрозы.

Лейтенанта я нашел в дальнем конце, у окна. Он тасовал карты, глядя перед собой. Облачен был в добротный кожаный кафтан и рубаху с кружевными манжетами. Шнурки не затянуты, и из-под ворота выглядывала грудь — волосатая, темная, как у кузнеца.

Я хотел молвить что-то, но неловко протянул записку и проямлил лишь: «...Вам послание».

Лейтенант развернул, ознакомился с текстом и сжал бумагу так, что она затрещала. Но тона не повысил, не прикрикнул: «Передай — буду».

Аудиенция окончилась, и я поспешил удалиться.

Вот так норов: не рычит, а все равно не по себе.

На крыльце я выдохнул. Внутри все кипело — и опасения, и сомнения, и странная тяга к сим пришельцам. Из-за

закрытой двери все еще сочились гул, брань, смех и чей-то пьяный напев, пытавшийся тянуть псалом.

Дядюшка Кейден поднялся, огладил меня по затылку одобрительно, и мы ушли.

## **Отец позволил мне присутствовать — опасался, что стану подслушивать.**

«Жаждать того, что не предназначено твоим ушам — гордыня, Уильям. Грех наитягчайший».

Двери распахнулись с пинка, и я подскочил. Лейтенант вошел с тремя рейнджерами и тотчас нашел глазами отца.

«По какому праву ты вызываешь меня, как своего цепного пса, бывший комиссар?»

Отец велел сурово: «Сядь, Хукер».

К моему изумлению, лейтенант подтолкнул стул ногой и уселся, ерзая на слишком тесном для его стана сиденье. Его люди остались у стены.

Отец начинал кипеть: «Поприличнее сядь».

Хукер не сдвинулся.

«Мне и в седле сидеть, как леди?»

Отец потер над бровями.

«Ваше поведение в городе недопустимо».

Лейтенант дотянулся до стакана с сидром на подносе.

«Неужто? Пьяных дебошей мы не чиним, гостеприимством не злоупотребляем, местных оберегаем. В полях помогаем».

«Вы не подчинились капитану регулярных войск — сие

объяснимо. Но орать под его окнами бранный гимн Королевства? Он уехал жаловаться губернатору. Теперь у всего отряда будут неприятности».

Вот и прояснилось, куда в последнее время задевался «лютый», и отчего Айзек ходит и искрится ликованием.

Отец сцепил руки в замок.

«Праотцы в гробах переворачиваются, глядя на тебя. Близость к Род-Айленду так сказывается? Испорченное поколение шестидесятых».

Хукер фыркнул: «У вас свои праотцы, у нас — свои».

Отец без слов согласился с какими-то своими думами.

«Ясно. Баптист есть баптист».

Прозвучало, как вердикт врача.

Билл аж поперхнулся возмущением и не сразу сложил слоги во внятные слова.

«Слушайте... так замните дело в окружном суде, коли мните себя важной персоной. А миндальничать с королевским лакеем — увольте. Уехал — и попутного ему ветра».

Вмешался констебль Дин, что стоял позади отца: «Держишь старшему по званию».

Хукер прояснил: «И какую власть надо мной имеет советник по индейским делам? Или тоже возомнил себя королем?»

Отцу сие не понравилось.

«Ты всерьез сравниваешь меня с королем?»

Я затаил дыхание. Вот бы он признал, что я — просто дар

судьбы по сравнению с сим буяном...

Хукер отступил: «Буду служить под твоим командованием, когда станешь значимее своих отцов-основателей».

Отец проворчал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю...»

Констебль сгладил углы: «Жениться тебе пора, Билли. Жена норов твой уравновесит да в благое русло направит».

Отец возразил, оглядывая Хукера с ног до головы: «Ни один благочестивый отец не выдаст за него дочь. Сними кружева, не позорься».

На сей раз Билл не смолчал.

«Так... вот что, папаша...»

Договорить он не успел: один из его рейнджеров пнул ножку стула, указывая вправо. Там в дверном проеме стояла Барбара с кружевным платком в руках.

Тон Хукера смягчился: «Юная леди. Доброго дня. Сие мне?»

Барбара кивнула, мило улыбнувшись, и протянула платок.

«Я заметила, что Вы любите кружева. Подумала, может, платок придется Вам по вкусу».

Лейтенант принял дар с почтением — пальцы, привыкшие к пушкам и пороху, бережно коснулись тонкой работы. Он усадил Барбару себе на колени, и сестра доверчиво устроилась поудобнее.

Поднял озорной взор на отца: «Видал? Твоя дочурка ко мне благоволит. Так что не торопись с выводами, тестюшка».

Успевшая было озарить лицо отца улыбка сползла.

Мужи перешли к делу.

Отец уточнил: «Сколько привел с собой?»

Хукер отчитался: «Двадцать пять лбов. Из них союзных индейцев — восьмеро».

Отец делал записи.

«Солидно. Как обстановка в Плимуте?»

«Землевладельцы под ударом. Ставки на скот — до небес. Всех загоняют в арендную кабалу. Доминион твердит: "земли пилигримов — севернее Кейп-Энн. На сей территории вам ничего не принадлежит"». Выручку с китобойни... по-просту забирают, иной раз — вместе с судами».

Отец посоветовал: «Пускай затягивают процесс. Подают апелляцию на каждый ярд по отдельности».

Вдруг он обернулся ко мне.

«Уильям, уведи Барбару, прошу».

Становилось все интереснее, и мне хотелось остаться. Я взял сестру за руку и спешно отвел к тетушке Кларе.

На обратном пути я замер у двери, услышав отцовские слова: «...думается мне, в Англии зреет переворот».

Я остолбенел. Подслушивал... но ведь отец сам позволил мне присутствовать! Я вошел и встал подле него.

Хукер медленно подтянулся из развалившейся позы: «Что за вести? Откуда ветер дует?»

Отец не раскрыл источника.

«К сему все идет. Джеймс Второй назначает католиков на

важные посты. Проповедует свободу веры. Парламент сего не потерпит. Его дочь может воспротивиться».

Он обвел собравшихся строгим взглядом.

«Пренебрегать сим нельзя. Речи, звучащие в сих стенах, должны в них и остаться».

Никто не стал спорить. Я не смел и вдохнуть, чувствуя себя причастным к тайне.

Отец продолжал: «Нам нужно знать точно, что творится за океаном. Отправим в Англию Мэзера с агентами».

Хукер заметил: «Эндрос со своим подхалимом Рэндольфом не отпустят их. У них лазутчик на каждом углу».

Отец одобрительно качнул сложенными ладонями.

«Придется вывозить тайно. Нам потребуется "койот"».

Во время напряженного разговора Хукер уперся локтями в колени, а после сказанного по его лицу разлилась понимающая улыбка, и он откинулся назад.

«И вы, конечно, решили, что я таким промышляю».

Констебль напомнил: «Не ты ли помог сбежать Марте Кейн?»

«Ах, Марта Кейн...»

Хукер тронул пальцем щеку.

«...она меня тогда поцеловала. Прямо сюда. И сказала: "благодарю, милый Уилл"».

Отец указал на него пером.

«Кроме того. На тебе — французская форма. Французский мушкет. Греховная страсть к наживе ведет как к кон-

трабанде, так и к пиратству. Ты — либо то, либо то».

Хукер усмехнулся: «Французы... коли торговать с ними — выучишь их язык так, что сойдешь за своего».

Отец процедил: «Я похлопочу о привлечении тебя к ответу за каждое нарушение. И измену. Как покончим с переговорами».

Хукер не выглядел запуганным.

«Сперва докажи мою причастность, советник. Не ты ли сидел в тюрьме за противление налогам? Что, мнение переменял?»

Отец отложил перо, и хорошо, а то оно сломалось бы.

«Неразумно сравнивать сопротивление королевским прихотям и сделки с врагом. Мы возводим Град на холме и не даем помыкать собой. А ты — торгуешь совестью».

Я сглотнул. Внутри все дрожало так, будто его раздражение предназначалось мне. Вот оно, оказывается, каково.

«Я слежу за тобой, Хукер. Где бы ты ни был».

Лейтенант поднял ладони.

«Что ж, и черт с вами. Будет вам корабль. Предупредите Мэзера. В документах укажите бостонскую гавань».

Я весь обратился в слух, ожидая, когда же речи коснутся войны на севере. В деревне матушки и птицы поют по-особенному...

Отец задержал Хукера жестом.

«Еще одно. Непосредственно о причинах вашего пребывания здесь. Мы не можем уступить нашу землю».

Хукер не спорил: «Мы готовимся. Джонни Крапо при виде нас уползут обратно к себе в болото».

Меня объял лихорадочный жар. Промолчу — провороню шанс, данный свыше.

Прежде чем разум обуздал язык, слова вырвались сами. «Отец, я тоже поеду».

Мой выпад повис в воздухе и ошарашил каждого. Констебль Дин закашлялся, рейнджеры зашептались: «Глянь-ка, а малец отчаянный...». Билл впервые воззрел на меня.

Я уставился в стол, мечтая провалиться сквозь землю.

Вопрос отца в тишине пронзил меня насквозь: «Ты в своем уме? Назови мне свои лета».

Я прошептал: «Тринадцать...»

Он возвысил тон: «Вот именно, что тринадцать! Ты не в ополчении. Ни стрелять, ни держаться в седле толком не умеешь».

Хукер всплеснул руками — с таким же успехом я мог бы признаться, что не умею ходить.

«В тринадцать? Да у меня будущая дочь, и та из аркебуза в люльке свинцом будет баловаться».

Отец отрезал, даже не взглянув на него: «Ему рано».

Надежда гасла, и стыд жег сильнее пламени преисподней. Но из глубины души поднялась горечь. Я прошипел себе под нос: «Там мне самое место. В аду и в могильной яме. Забудешь про нерадивого сына».

Отец наказал: «Молчать».

Всю жизнь я молчал и покорно опускал глаза. И в первый раз, вознамерившись высказать свою волю, был осажен, словно лающая дворняга.

«Но я...»

«Выйди. Подумай над своими словами».

Красная пелена заволокла глаза. Я не помню, как вышел и хлопнул дверью. В коридоре я съехал по стене на пол и ткнулся лицом в колени. Сердце, гулко стуча, требовало высшей справедливости, коей я не удостоился.

Сквозь щели в двери сочились обрывки разговоров.

Хукер протянул: «...да уж, Миллз. Отцовство — твое призвание».

Он словно потрепал меня по волосам.

Затем речи вернулись к делам, от коих я был отлучен.

«...Эндрос вернется в Мэн, подтянет резервы позже... используйте время для подготовки...»

«...прямиком ему в лапы. Решил от меня избавиться?»

«...наблюдать. Собирать людей...»

Голоса стихали, сливались в неразборчивый гул.

Прорвались слова Хукера: «...оружейные склады опустели. Пороха не хватает. Чем стрелять в Мэне будем? Шишками из рогаток? Реши сию проблему, бывший комиссар...»

Затем они склонились над картой, и слышно стало совсем плохо.

С наступлением сумерек совет подошел к концу. Дверь отворилась, и половицы взвизгнули под тяжелой поступью

Хукера. Он задержал на мне взгляд, но безмолвно удалился.

Следом вышел отец и встал надо мной. Внутри звенела пустота, и я крутил в пальцах булавку-тюльпан, лишь бы помнить: сей малый ад — залог, что я еще не в аду подлинном. Твердил себе: переступлю его волю — окончательно докажу свою падшесть. Ну и пускай. Сам возблагодарит меня потом.

И тогда отец возложил ладонь мне на голову примирительно. Казалось, белая пена волны мягко накатила на берег и смыла замок из песка, что я успел себе возвести.

Он наставлял: «Не бери с него примера, Уилл. Ляжешь с собаками — проснешься с блохами. Такие, как Хукер, идут на виселицу, не достигнув и третьего десятка».

**Лета Г**

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.